И. Л. Савкина
ORCID: 0000-0003-1860-0963
✉ *irina.savkina@tuni.fi*
Тамперский университет (Финляндия, Тампере)

«А старость вот она, рядом»: репрезентации старости и старения в дневниках советского времени

Аннотация. В статье на материале трех дневников (Н. С. Лашиной, Л. В. Шапориной и В. Я. Проппа) анализируется изображение старости и процесса старения в дневниковом нарративе советского времени. Автор исходит из представления о том, что старость и гендер являются социокультурными конструкциями, и потому следует говорить о различных старостях, определяемых историческим контекстом, индивидуальными особенностями личности и повествовательными стратегиями пишущего. В статье анализируются как различия моделей старения и нарративных стратегий описания собственной старости, так и общие черты советской женской старости, которые можно увидеть в двух женских дневниках. Старение в них описывается как процесс трансформации из матери в бабушку и (травматической) адаптации к вмененной обществом роли старой женщины/бабушки. Представление о мужской старости, как видно из анализа «Дневника старости» В. Я. Проппа, гораздо более вариативно и дает бóльшую свободу выбора подходящей модели старости.

Ключевые слова: старость/старение, дневник, дневниковый нарратив, дневник советского времени, гендер, женский/мужской дневник

Текст является дополненным и переработанным вариантом статьи [Savkina 2017].

Для цитирования: *Савкина И. Л.* «А старость вот она, рядом»: репрезентации старости и старения в дневниках советского времени // Шаги / Steps. Т. 5. № 2. 2019. С. 188–210. DOI: 10.22394/2412-9410-2019-5-2-188-210.

Статья поступила в редакцию 3 октября 2018 г.
Принято к печати 28 октября 2018 г.

© И. Л. САВКИНА

Irina L. Savkina
ORCID: 0000-0003-1860-0963
✉ *irina.savkina@tuni.fi*
University of Tampere (Finland, Tampere)

"And old age is here, nearby": Representations of old age and aging in diaries of the Soviet era

Abstract. In this article, the author considers the question of how old age and the process of aging are portrayed in three diary texts from the Soviet era: the diaries of Nina Lashina, Lyubov Shaporina and Vladimir Propp. The author of the article shares the view that both old age and gender are sociocultural constructs, and therefore one should speak of different old ages determined by the historical context, by the individual features of personality, and by the diarist's narrative strategies. The article analyzes both different models of aging and different narrative strategies for describing one's own old age 'day by day', as well as the common features of Soviet female old age, which can be seen in the two women's diaries. Aging in them is described as a process of transformation from mother to grandmother, and as that of (traumatic) adaptation to the role of old woman/grandmother imposed by society. The idea of male old age, as can be seen from an analysis of Vladimir Propp's *Diary of Old Age*, is much more variable and gives more freedom to choose a suitable model of old age.

Keywords: old age / aging, diary, diary narrative, Soviet era diary, gender, female/male diary

This is a revised and enlarged variant of the article [Savkina 2017].

To cite this article: Savkina, I. L. (2019). "And old age is here, nearby": Representations of old age and aging in diaries of the Soviet era. *Shagi / Steps, 5*(2), 188–210. (In Russian). DOI: 10.22394/2412-9410-2019-5-2-188-210.

Received October 3, 2018
Accepted October 28, 2018

© I. L. SAVKINA

Я думала, старость — румяные внуки,
Семейная лампа, веселый уют.
А старость — чужие холодные руки
Небрежный кусок свысока подают
Я думала, старость — пора урожая,
Итоги работы, трофеи борьбы.
А старость бездомна, как кошка чужая,
Бесплодна, как грудь истощенной рабы.

Эти стихи поэта Елены Тагер, проведшей 16 лет в сталинских лагерях и ссылке, содержат два контрастных представления о старости: оптимистическое, связанное с семейным уютом, и трагическое, связанное с одиночеством и отчуждением. Стихи цитирует 73-летняя Любовь Шапорина в своем дневнике, который будет объектом анализа в этой статье наряду с другим женским дневником советского времени — Нины Лашиной и с «Дневником старости» известного ученого Владимира Проппа.

Предметом моего интереса будет вопрос о том, как в этих дневниковых текстах изображаются старость и процесс старения. Я разделяю концепцию, утверждающую, что и старость, и гендер являются контекстуально обусловленными социокультурными конструкциями и что представления о старости вообще и о женской/мужской старости заметно варьируются в зависимости от времени, места и общества [Gramshammer-Hohl 2014: 32–36; Левинсон 2005]. Повествование о старости и старении, в частности в дневниковом дискурсе, также безусловно испытывает влияние исторического контекста, который навязывает пишущему определенные легитимирующие метанарративы, культурные коды и табу. При этом практики самоописания старости не так часты: старый человек редко выступает как субъект; о нем и о старости говорят другие, ее еще не испытавшие (см.: [Gramshammer-Hohl 2014: 49]).

Нарратив старения: воспоминания vs. дневники

На первый взгляд кажется, что для анализа репрезентации старости в автодокументальном контексте было бы естественнее обратиться к жанру автобиографии, воспоминаний о собственной жизни. Автобиография связана с темами памяти, итога, с трансляцией приобретенного опыта другим, младшим поколениям. «Как ни грустно, наступает пора итогов, пусть не самых последних, но все же...» [Кетлинская 1974: 7] — это очень типичный для мемуаров исходный тезис. Парадоксальным образом в автобиографическом дискурсе собственно старость редко становится предметом рефлексии и изображения; старость для автобиографии — это данность, исходная точка и легитимация рассказа. Ощущая себя на вершине жизненного пути, автор воспоминаний смотрит не в направлении будущего, склона лет, а вглядывается в прошлое, в детство и молодые годы, восстанавливая мысленно маршрут «подъема». Автобиографический роман упомянутой советской писательницы Веры Кетлинской называется «Здравствуй, молодость!». Ее современница Мариэтта Шагинян предваряет свои мемуары «Человек и время» цитатой из Пушкина: «Невидимо склоняясь и хладея, мы движемся к началу своему». Конеч-

но, старость присутствует в такого рода текстах: являясь исходным пунктом и организующим началом автобиографического повествования, она связана с понятием итога, опыта в том смысле, который содержится в немецком слове Erfahrung, т. е. опыта как целостности, совокупности накопленных за жизнь знаний и умений. Задача воспоминаний, по словам М. С. Шагинян, поделиться «теми уроками жизненного опыта, какие накапливает каждый старый человек в конце своей жизни» [Шагинян 1980: 664], мемуарист «интегрирует весь опыт прожитой жизни» [Там же: 371].

Автобиография дает ответ на вопрос: почему моя старость такова, какова она есть, так как автонарратив силится представить жизнь как судьбу [Gusdorf 1980]. «Мне ясно сейчас, что жизнь человека — это ступенчатая, длительная психологическая подготовка к тому, что впоследствии с последней, предсмертной точки огляда предстает перед нами как его судьба» [Шагинян 1980: 206]. И хотя в книге Шагинян, как и в большинстве модерных автобиографий, наряду с нарративом о судьбе автогероини значительное место занимает своего рода метанарратив — история пишущей воспоминания повествовательницы, предметом изображения и рефлексии здесь становятся в основном события, прямо или косвенно связанные с работой над мемуарами. История старения, в отличие от истории взросления, оказывается гораздо менее артикулированной.

Другим возможным материалом для анализа темы женского/мужского старения в автодокументальных текстах могли бы стать воспоминания о старых женщинах/мужчинах, о бабушках/дедушках, см., например, публикации материалов из собрания Е. В. Лаврентьевой «Бабушка, Grand-mére, Grandmother…» и «Дедушка, Grand-pére, Grandfather…» [Лаврентьева 2008; 2011]. Однако взгляд на старость извне, с точки зрения стороннего, но заинтересованного наблюдателя (внука/внучки) тоже результативен, даже статичен. Для внуков дедушка, а еще в большей степени бабушка — воплощенная старость, которая не имеет развития. С удивительной последовательностью в воспоминаниях разных людей разного времени, собранных в книге о бабушках, повторяется одна и та же формула описания: «На моей памяти бабушка в с е г д а (здесь и далее разрядка моя. — *И. С.*) носила темные крепдешиновые платья [Лаврентьева 2008: 65]; «В кругу домашних в с е г д а одетая в черный сарафан» [Там же: 101]; «Она н е п е р е м е н я л а н и к о г д а покроя своей одежды» [Там же: 256]; «Я ее помню в с е в т о м ж е темном шелковом капоте» [Там же: 281]; «З а в с е г о д ы, пока я ее знала, а она умерла, когда мне было уже двадцать восемь лет, о н а п о ч т и н е и з м е н и л а с ь» [Там же: 330] и т. п. Как видно из цитат, бабушка в рассказах внуков не имеет собственной истории, в том числе и истории собственного старения, — она практически неизменна и выглядит, как на фотографии из семейного альбома. У многих повзрослевших внуков вырывается признание в том, что они своих бабушек, в сущности, не знали и не понимали, и чтобы восполнить этот дефицит, авторы воспоминаний зачастую становятся биографами своих бабушек, восстанавливая историю их жизни, прежде всего детства и молодости, обращаются к их девичьим дневникам и т. п. Персонализация статуарного персонажа происходит за счет того, что бабушки перестают быть бабушками и только тогда обретают «личную жизнь». «Вообще о личной жизни моих бабушек я узнала потом, из писем и дневников. Почему-то при их жизни на все это было на-

ложено табу» [Там же: 94]. Дело не только в табу, связанном с традицией, но и в том, что опыт бабушек / дедушек не как Erfahrung — предание и уроки жизни, которыми они делятся в своих рассказах, а как Erlebnis — актуальные субъективные ощущения и чувства, в том числе и переживание старости и старения, — этот опыт недоступен и неинтересен внукам и практически остается неизображенным в их воспоминаниях.

Симона де Бовуар в своей книге «Старость» пишет: «Любая ситуация в жизни человека может быть рассмотрена снаружи, с позиции постороннего, и изнутри — в той мере, в какой субъект способен представить себя и в контексте ситуации, и за ее пределами. Для постороннего пожилой человек является объектом определенного знания: сам пожилой человек испытывает свое состояние из первых рук — у него есть непосредственное, живое понимание этого»[1] [Beauvoir 1972: 10]. Посмотреть изнутри на «ситуацию старения» нам позволяют дневники. Правда, таких дневников (по крайней мере на русском языке) не так уж много. Если «дневник молодого человека / молодой девушки» — отдельный и крайне продуктивный жанр (см., например: [Lejeune 1993]), то «дневник старика / старой женщины» — редкость. Чаще всего даже люди, долго, в течение всей жизни ведущие дневник, к старости пишут все реже и короче, а нередко и вовсе перестают писать. Например, Софья Островская (1902–1983), дневник которой был начат в 1913 г., после 1947 г. практически прекращает вести его, делая несколько записей в 1950 г. и одну в 1953 г. [Островская 2013: 597–602]. Это объясняется, вероятно, и начавшимися проблемами со зрением, приведшими в конце концов к слепоте, и ощущением исчерпанности сюжета, внутри которого дайаристка пытается репрезентировать себя в дневнике.

Иногда старческие записи цензурируют наследники или редакторы. Александра Наумченко, внучка-публикатор дневника Нины Лашиной, о котором пойдет речь ниже, на мой вопрос, писала ли ее бабушка дневники после 1967 г., ответила в электронном письме от 4 апреля 2015 г.: «Более поздние дневники есть, но они очень отрывочны и постепенно сходят на нет ‹...› При издании мы оборвали повествование на том месте, где в нем еще есть какая-то связность».

Не во всех дневниках стареющих людей тема собственного старения осознается и становится предметом рефлексии. Так, в знаменитом дневнике 1910 г. 66-летней Софьи Толстой очень сильно акцентирована тема *чужой* старости, в частности старости мужа, Льва Толстого. О себе она пишет как о моложавой и молодой, полной сил и энергии женщине: «Да, Лев Николаевич наполовину ушел от нас, мирских, низменных людей, и надо это помнить ежеминутно. Как я желала бы приблизиться к нему, постареть, угомонить мою страстную, мятущуюся душу и вместе с ним понять тщету всего земного» [Толстая 2013: 60]. Конфликт между ею и Толстым в некотором смысле интерпретируется в дневнике как конфликт молодости и старости, страсти и бесстрастной мудрости, свойственной старым людям. «Мудрая и беспристрастная старушка А. А. Шмидт помогла мне своим разговором со мной» [Там же: 56], — пишет Софья Толстая о своей, кстати, ровеснице (они обе 1844 года рождения).

[1] Пер. с англ. мой.

Процитированные выше строки еще раз обращают нас к сложности проблемы определения и восприятия старости и ее границ. И, вероятно, точнее было бы употреблять здесь не единственное, а множественное число — говорить о различных определяемых социокультурным контекстом жизни, индивидуальными особенностями личности, повествовательными стратегиями пишущего — старостях. Женская старость отличается от мужской. Советская женская/мужская старость имеет свои особенности. Модели самоидентификации, в том числе нарративной [Bruner 2004; Chamberlain, Thompson 1998], существенно влияют на «рассказывание старости». Я хотела бы на материале анализа трех дневников советского времени — дневников Нины Лашиной, Любови Шапориной и Владимира Проппа — попытаться выявить некоторые особенности нарратива о старости и старении, посмотреть, какие социальные, гендерные, жанровые, индивидуально-личностные факторы оказываются особенно важными и влиятельными для «рассказывания старости» и осознания ее как части (авто)биографии.

Надо отметить, что проблемы женского дневника для меня являются основными, и в этом смысле в высшей степени интересный дневник В. Я. Проппа в этой статье является в некотором роде сравнительным материалом.

Смириться со старостью: дневник Нины Лашиной

Записи дневника Нины Сергеевны Лашиной (1906–1990) охватывают период с 1929 по 1967 г. Юрист по образованию, Лашина служила в разных советских учреждениях, пыталась заниматься литературным трудом, в 1950-е годы работала в журнале «Крокодил». Хотя автор дневника — образованный человек, дворянка по происхождению, на протяжении всего дневникового текста она довольно последовательно и осознанно позиционирует себя как обыкновенного, рядового, частного человека, и бóльшая часть записей посвящена повседневной жизни и перипетиям личной судьбы.

Тема старости в дневнике начинается как проблема чужой, материнской старости, которая вызывает жалость, раздражение и страх.

> Я смотрю на ее жалкую до слез фигурку в засаленном платье, на ее старое, усталое лицо. ‹...› Была молодая, интересная женщина, ласковый, чудесный человек [Лашина 2011 (1): 344].

Дайаристке в момент этих записей 39 лет, ее матери — 60, но последняя уже воспринимается как старуха, которая не имеет собственной жизни, занимается внуками, отдает в семью все, что зарабатывает [Лашина, 2011 (2): 132][2], и описывается с использованием глагола *была*.

Тема собственной старости появляется в дневнике 48-летней Лашиной в тот момент, когда наступает разрыв со вторым мужем и появляется страх одиночества: «А старость вот она, рядом» [206]; «Я еще раз иду на примирение ‹...› ради такой близкой нашей старости» [233]. Отношения с новым мужчи-

[2] При дальнейшем цитировании в этом разделе второго тома дневника Лашиной указываются только номера страниц.

ной, который чуть позже появляется в ее жизни, описываются не как страсть, а как партнерство по старости («мы решили заканчивать нашу жизнь вместе» [269]), что, впрочем, не является спасением от одиночества. Последнее — это главная черта, примета старения, потому что границей начала старости для Лашиной является взросление ее детей, ведущее к неизбежному реальному или ментальному их уходу от матери.

> Я теряю дочку. ‹...› Все пройдет. Не пройдет только чувство одиночества, чувство старости и ненужности. Я же понимаю, что я действительно старая. Мне уже 48 лет. ‹...› Что же, буду жить дальше и писать свой дневник, стареющий вместе со мною [292–293].

Роль жертвующей собой жены и матери является для Лашиной доминирующей на протяжении всего дневника, и старение — это трагическое расставание с нелегкой, но бесконечно ценной материнской ролью и безуспешные попытки найти ей паллиативную замену.

> [15.04.1956] Наши дети! Это наша жизнь, но это и наша жертва! ‹...› Бесконечный отказ себе во всем ‹...› труд и тревога ‹...› И вот пришла старость. Передо мной несколько взрослых людей. Это мои дети. Многое в них чуждо мне [323].

Отчуждение от детей, от своей материнской роли составляет для нее суть процесса старения, потому что означает отчуждение от себя самой, ощущение себя и н о й. Это отчуждение, «обыначивание» Лашина фиксирует и отраженно, через всматривание, как в зеркало, в своих ровесниц. После своего 50-летия она совершает две поездки в места своей молодости — в Магнитогорск и Ташкент. Встречи с подругами юности она описывает как метаморфозу: сохраненные в памяти девичьи лики оборачиваются лицами старух. И тот же эффект она чувствует, смотря на себя их глазами:

> Она (подруга молодости Тамара. — *И. С.*) напрягает память, и ничто в сидящей перед ней старой женщине не напоминает ей Нину в молодости [333].

Описывая встречи во время этих мемориальных поездок, Лашина настойчиво фиксирует ситуации, общие с ее собственной историей, где переход границы, за которой начинается старость, маркируется ситуацией разрыва с детьми. 90-летняя бывшая свекровь говорит: «Вот так-то, Нина. И с тобой то же будет. Каждый из детей поднесет тебе горькую чашу с ядом, и ты выпьешь ее до дна» [338], а в Магнитогорске ее встречает «Лидия Павловна, ‹...› теперь белая, как снег, старуха, поющая жалобную песню о несправедливости к ней детей» [355].

Кроме одиночества и оставленности, старение в дневнике связано с мотивами усталости, болезни, смерти.

> Я стала уставать так, как даже не могла себе и представить. Иной раз меня тянет лечь, потому что я не могу сидеть [372].

Оказавшись в больнице, она сравнивает свою судьбу с жизнью других изработавшихся советских женщин:

> Заезженные лошади, везущие на себе нестерпимо тяжелый груз жизни, заботы, мелочной нужды в копейке, часто неуважение своих домашних [395].

Начинающееся после 50 лет подведение итогов жизни вызывает разочарование:

> …над всей моей жизнью, над всем прошлым возник огромный, непоколебимый и темный, как смерть, знак вопроса, знак укора и упрека себе и всей жизни, прожитой неверно [397].

Тема старости, именование себя старухой, как можно видеть, начинается в дневнике Лашиной очень рано, когда ей нет еще 50 лет. Выход на пенсию «по старости» в 55 лет, с одной стороны, приносит в эту тему новые мотивы потенциальной свободы, возможности жить для себя:

> Уйду на пенсию. Начнется другая жизнь. Может, будет мне и хуже. Но одного хочу — свободы в своей жизни, свободы собой распоряжаться [409].

Однако, с другой стороны, эта пенсионная свобода страшит, ее синонимами то и дело становятся «пустота» и обессмысливание жизни.

> Завтра я ухожу на пенсию. И так в эти дни мне грустно ‹...› круг моей жизни замкнется интересами семьи. Я этого хотела, потому что устала, утратила силы, энергию, почти все время болею. Но когда день пришел, мне стало грустно и страшно [417].

Меняются и стратегии самоописания; дневниковый текст редуцируется, подневные записи больше не нужны, так как старение связывается с рутинизацией жизни. «20.3.1962. Прошло полгода» [421]; «Жизнь идет настолько однообразно, что достаточно изобразить один день, чтобы тем самым изобразить годы» [434] и т. п. Лашиной еще нет шестидесяти, но один из лейтмотивов дневниковых записей — чувство исчерпанности жизни и примирение с собственной старостью, которая оценивается как «отступление в тень», постепенный и неназойливый уход:

> Надо смириться со старостью. Вячеслав все хочет быть рядом с молодежью. Мне очень жаль его. Не понимает он, не хочет понять, что шквал юности, молодости уже пришедших нам на смену детей наших, выросших и окрепших, лавиной заполняет жизнь, властвует, и захватывает все позиции, в то время как мы, родители, подходящие к 60-летнему возрасту, отступаем все дальше в тень, пока тень вечная не скроет наших лиц и саму память о нас [406].

> У каждого из моих детей своя жизнь. Я только прошлое. Так все и должно быть. А старики должны быть скромны, ненавязчивы, неназойливы, ничего не требовать от детей и тихо доживать в сторонке. Скоро мы с Вячеславом останемся одни, и это будет правильно и честно. Теперь и он уже на пенсии. Стареет, бедняга, и приход своей старости переживает, как величайшую трагедию [429].

Мужская индивидуалистическая позиция мужа, который пытается не признавать старости, оценивается как смешной инфантилизм. Рассказ о себе, о собственных чувствах, желаниях, мыслях редуцируется; живые истории, описанные в дневнике, — это истории детей и внуков, иногда воспоминания о молодости. В актуальном настоящем с невыговоренным вслух ужасом констатируется смерть желаний и погружение в нерадующий покой:

> …мы как два старика в богодельне. ‹...› Все так убого и жалко. Так или не так мы прожили жизнь, размотали мы ее попусту или сделали что-то полезное, все равно ничего уже не исправишь. А читать, писать? Собирать вновь какие-то ценности души и ума — к чему? Кому это нужно? И меньше всего нам самим. И от сознания этого такая тоска! [447].

Светлое, позитивное чувство возникает, когда она пишет о дачной жизни и внучке Сашеньке. Но счастье бабушки описывается как непрочное, это своего рода «краденое» материнство, потому что право на ребенка принадлежит родителям, которые непременно увезут девочку, и тогда «на нашу жизнь с Вячеславом опустится тишина и безмолвие ‹…› Будет тихо, спокойно, чисто. Каждая вещь будет неподвижно стоять на месте месяц за месяцем, год за годом» [448].

Такие настроения стоического смирения с бессмысленным покоем старости преобладают в записях 1956–1965 гг. Хотя иногда связанные со старением темы подведения итогов звучат и в позитивном ключе, как в записи от 3.06.1965:

> Теперь начнется моя спокойная старость. ‹...› Конец моим тревогам и волнениям. Да уже и пора! ‹...› Летом отдохну, а осенью примусь за свои рукописи и дневники. ‹...› Надо разобрать, выбросить все лишнее, напечатать [460–462].

Однако через пять дней после процитированного текста следует запись о гибели любимого сына Кости, и возникает ситуация, когда Лашиной приходится вернуться к роли самоотверженной и жертвенной матери и удочерить больную, нервную, плохо воспитанную пятилетнюю дочку покойного сына. Публикаторы обрывают текст дневника на записи о получении Ниной Сергеевной нового свидетельства о рождении девочки.

> В новой метрике было написано: «Мать — Лашина Нина Сергеевна, отец — Покровский Константин Константинович (имя покойного сына Лашиной. — *И. С.*)» [486].

Как видим, тема старения в дневнике Лашиной теснейшим образом связана с доминирующей для нее моделью самоидентификации — жертвенная и самоотверженная жена, а главное, мать. Ограничение возможности участвовать в жизни детей, влиять на нее и в какой-то мере контролировать ее лишает существование стареющей матери содержания и смысла. Несмотря на то что в своих многостраничных дневниках Лашина предстает как профессионал, креативная личность, человек с довольно активной политической позицией, страстная и чувственная женщина, тема старения отрефлектирована практически только в дискурсе исчерпанного материнства.

Старение как миссия и испытание: дневник Любови Шапориной

Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) — дворянка, выпускница Екатерининского института, художница, переводчица, создатель первого в Советской России театра марионеток, жена композитора Юрия Шапорина, вела дневник с 1898 г. до самой смерти. т. е. почти 70 лет. После недолгого пребывания в Италии и Франции в 1920-е годы Шапорина почти безвыездно живет в Ленинграде (в том числе и во время блокады) и активно общается с широким кругом художников, писателей, композиторов, музыкантов, переводчиков.

В многотомных дневниках Любови Шапориной тема старости явно и очевидно появляется в послевоенных записях (автору в это время 67 лет). Блокадные дневники содержат много размышлений о смерти, но не о старости. После физической и душевной «мобилизации» военных лет наступает ощущение усталости, исчерпанности сил — старости: «[18.01.1946] …я чувствую себя усталой старой клячей, запряженной в непосильную ношу» [Шапорина 2012: 9][3]. В саморефлексии начинает появляться «итоговое» мышление.

Доминантные модели самоидентификации в дневнике Шапориной иные, чем у Лашиной: она ощущает себя хранительницей религиозной и культурной национальной традиции, человеком творческой среды. Хотя собственный креативный потенциал она не склонна преувеличивать, свое скриптерство приобщенной оценивает как миссию. Опыт же супружества и материнства она считает неудачей, если не ошибкой (муж ей изменял и бросил ее, с сыном отношения напряженные, любимая дочь умерла в 11 лет). Она замечает по поводу своей подруги, художницы Остроумовой-Лебедевой:

> У А. П. великое счастье — не иметь детей, внуков. Судьба охраняла ее дарование, не пришлось его разменивать на ненужную «мышью беготню» [128].

Однако по иронии судьбы годы ее старения проходят под бременем беспрерывных забот как матери и бабушки. После войны сын Шапориной с женой и двумя детьми, Соней и Петей, возвращается в квартиру матери в Ленинград. Вскоре он уезжает в Москву, оставив семью без материальной поддержки, и Любовь Петровна до самой своей смерти вынуждена жить в одной кварти-

[3] При дальнейшем цитировании в этом разделе второго тома дневников Шапориной указываются только номера страниц.

ре и даже одной комнате с нелюбимой невесткой и подрастающими внуками, а Соня практически полностью оказывается на иждивении бабушки. Кроме того, в 1937 г. Шапорина приняла опекунство над двумя дочками репрессированного соседа. С этими выросшими девочками у нее тоже возникает ментальный и имущественный конфликт.

Бремя материнских и бабушкиных забот описывается ею как невыносимое и связывается с дискурсом болезни, усталости и старости:

> Хочется плакать, плакать над собой, над своей неудачной жизнью, над усталостью, которая дошла до предела ‹…› А я что-то сдаю. Уж очень тяжело быть только нянькой, целый день топтаться на месте и ждать денег [22, 33].

Подобного рода записей после 1946 г. чрезвычайно много. Но все же в дневниках Шапориной старость имеет перспективу, старение обладает протяженностью, в нем есть будущее, которое можно планировать. Для Шапориной существуют долги и обязанности, которые необходимо реализовать и которые составляют содержание старости, делая нарратив о ней не только перечислением болезней, тягот и смертей знакомых и близких.

> Что-то мне стало себя жалко. Я собственноручно навивала свой воз до таких размеров, что теперь, как старая кляча, ноги протягиваю — не свезти. Что все-таки мне надо успеть сделать до того момента, как будет сказано — пора... Хотелось бы написать воспоминания ‹…› привести в порядок письма, архив ‹…›. Не знаю, какова будет Сонечка, я не успею ее воспитать. А долги? [36].

Глубоко религиозный человек, Шапорина многократно обращается к Богу с молитвой, чтобы он дал ей сил сделать в старости три вещи: повидаться с братьями (которые эмигрировали и живут в Европе), увидеть «рассвет над Россией» (т. е. падение советской тирании и восстановление Великой России) и довести до конца свою творческую миссию (систематизация дневников и написание воспоминаний). Пережив смерть Сталина, разоблачение культа личности и съездив в 1960 г. к братьям в Щвейцарию, она не считает свою «программу на старость» выполненной.

> 31.05.61. А у меня на душе уныло. Старость мешает. Смешно. Но до этой зимы я держалась. А надо бы еще продержаться какое-то время, чтобы привести в порядок дневники [389].

Именно сохраненная творческая энергия и желание (а не только финансовая необходимость) интеллектуальной работы дает силы жить, а не доживать.

Однако боязнь одиночества и оставленности на старости лет страшит Шапорину, как и Лашину. По этой причине она не хочет разменивать квартиру:

> Наташе не приходит в голову, что я, 67-милетняя старуха останусь совсем одна. ‹…› Умри я, об этом догадаются, когда я начну разлагаться [56].

Ситуацию усугубляет советский контекст старения, о котором Шапорина, в высшей степени критически настроенная по отношению к советской действительности, пишет много и подробно. Испугавшись слухов о том, что будет принят новый закон об излишках жилой площади, по которому будет установлена норма на человека в размере 6 кв. м, а в случае ее превышения комнату изымут или вселят в квартиру любого нуждающегося, Шапорина поселяет у себя родственников. В результате она, так боявшаяся одиночества, всю свою старость живет, как она пишет, «в общежитии»: с ней в одной комнате спит внучка, потом в комнату Шапориной переезжает еще и бывшая няня детей, Катя. 7 апреля 1957 г. 78-летняя Шапорина записывает:

> Теперь у меня не комната, а общежитие. Катя спит и живет на своей оттоманке. Соня на ночь раскладывает постель, я уединяюсь у своего письменного стола, не видя, что позади делается [356].

Почти через десять лет ситуация если меняется, то к худшему:

> 16 мая 1965. Я теряю себя и дошла до отчаяния. Мое общежитие доводит, вернее, довело меня до состояния полной никчемности. Я не высыпаюсь — работа у Сони в три смены. ‹…› Чувствую себя как на вокзале, вокруг меня ходят чужие люди, для которых я сама и моя работа чужое и ненужное дело. И я не могу взять себя в руки. А, может быть, я так опустилась из-за того, что живу впроголодь? [404].

В последнем вопросе обозначена еще одна проблема, с которой сталкивается Шапорина на старости лет в своей советской жизни, — это финансовые сложности. Она не имеет денег, чтоб содержать себя и внуков. В записи от 20 марта 1947 г. читаем:

> Где искать работы? Я не умею искать работы, прежде работа всегда меня искала, но сейчас при усилении партийного нажима, куда пойдешь? То ли стара я стала, то ли устала физически за жизнь, за блокаду, но я нахожусь в каком-то оцепенении. ‹…› А тут и голод, и дети на руках. Ведь я могла бы хлопотать о пенсии — не хочу, не могу, это свыше сил моих. У меня такое безмерное презрение к нашим Gouvernants, что даже шерсти клок вырвать не хочется [43].

Жалобами на нищету, голод, распродажу книг, мебели, описанием походов в ломбард, поисков хоть каких-то приработков, переводов и т. п., благодарностями знакомым за помощь пестрят страницы дневника. Преодолев свое презрение к властям, Шапорина добивается пенсии, которую у нее вскоре отнимают, мотивируя это тем, что она работала по найму, а не по договору. В записи от 22 января 1952 г. Любовь Васильевна так комментирует эту ситуацию:

> Может ли долго существовать строй, при котором целая жизнь работы не дает обеспеченной старости, при котором нет никакой возможности скопить на черный день хоть немного, чтобы помочь детям [194].

Подобные размышления о старости и смерти «в советско-житейском» смысле в более ранней записи от 6 марта 1951 г. заканчиваются словами:

> Какое мучительное чувство — не иметь возможности обеспечить своих детей, внуков. На этом ведь зиждется культура [173].

Убивающая физической усталостью и болезнями природа, изощренно унижающий советский социум, неблагодарность детей и внуков — все это, с точки зрения дайаристки, выталкивает стареющего человека из жизни. В то же время религиозная вера и убежденность в значимости своей культурной миссии заставляют ее держаться и придают старости смысл и ценность. Само ведение дневника ощущается как часть этой миссии и средство борьбы с «оглумлением», как называет Шапорина снижение умственной активности, старческую бестолковость.

> Я прибегаю к дневнику, чтобы вправить себе мозги, хоть на полчаса сосредоточиться. Я многое хотела записать и все забыла от глума в голове. Надо вспомнить [205].

Воспоминание и ведение дневника — культурный жест, который препятствует старческому «оглумлению», т. е. отчуждению от того self, которое является носителем культурного кода («я умру и шифр будет потерян» [147]).

Стареть по-советски: женщины

Анализ двух женских дневников советского времени, конечно, не позволяет сделать слишком широких, универсальных обобщений, но все же дает основания для некоторых выводов.

Для обоих дневников характерно то, что наступление старости, начало старения связывается с характерным для традиционной культуры представлением об исчерпанности женщиной материнской функции и с взрослением детей. Старение в определенном смысле описывается как процесс трансформации из матери в бабушку[4] и как процесс адаптации к вмененной обществом роли старой женщины/бабушки. Эта адаптация совершается постепенно и травматично. Кроме традиционных для большинства автодокументов о старении и старости тем болезней и утрат, акцентируется и мотив смертельной усталости, почти полного истощения сил как результат жизни, на которую выпало слишком много катаклизмов и испытаний, превративших женщину в «заезженную лошадь». Антрополог Наталья Козлова отмечала, что «записки советских людей — это не просто записки старых ‹...› это записки переживших других, выживших» [Козлова 2005: 308]. Поэтому со старением отчасти связывается мечта о покое. Однако примирение со старостью соседствует с очевидной сложностью одобрить себя иной — старухой. Проблематичность одобрения себя в старости и принятия старости вообще усугубляется такими реальными обстоятельствами советской жизни, как «квартирный вопрос» и финансовый статус пожилых людей.

[4] О бабушках в традиционной русской культуре и в советской семье см.: [Семенова 1996].

Анна Белова, изучая рефлексию старости в автодокументах провинциальных русских дворянок XVIII — середины XIX в., в качестве позитивного момента отмечает, что многие женщины обретали к пожилому возрасту имущественную самостоятельность и свободу распоряжения собственностью по отношению к возможным наследникам. В этом смысле они имели властный ресурс и средства манипуляции [Белова 2010: 431].

Особый статус пожилой женщины в народной культуре был связан с тем, что, переходя из возраста бабы в возраст бабушки (с прекращением регул и способности к деторождению), женщина, согласно народным представлениям, «очищалась». «Старухи относились к категории имеющих статус девственности, в данном случае возвратной, обладающей характеристикой чистоты» [Прокопьева 2005: 638]. Магическая девственность старух в значительной степени определяла круг их социальных обязанностей и их символическую роль в крестьянской общине. «С того момента, как женщина считается бесплодной, "вышедшей из возраста", она более не участвует в борьбе с себе подобными, "остывает" и становится "чистой"; теперь она может помогать другим: принимать роды, лечить больных, готовить мертвых в последний путь. Расставшись с ролью матери, она символически становится всеобщей Матерью», — пишет антрополог Г. И. Кабакова [2001: 285].

У наших героинь нет ни того, ни другого ресурса авторитета. С одной стороны, они не имеют «капитала», который могут передать в наследство. Единственное достояние городских жительниц Лашиной и Шапориной — это жалкие квадратные метры, которые не являются их собственностью, но в которых заинтересованы другие члены семьи, в результате тема старения ассоциируется с темой ухода как буквального освобождения жизненного пространства для молодых. С другой стороны, ни одна из дайаристок не артикулирует идею особой мудрости, заветного знания, обретение которого было бы как-то связано с процессом старения. Итоговое мышление у обеих связано исключительно с личным опытом и необходимостью сохранить и запечатлеть его, а не коллективное / родовое предание, которое транслирует потомкам старуха-мать в крестьянской культуре. Нарративные стратегии описания старения у наших героинь — персональные и модерные, а модели самоидентификации в роли старой женщины (матери / бабушки) — традиционные.

Кроме того, очевидно, что парадигму старения и его начальную границу устанавливает социум через ситуацию выхода на пенсию. Право на государственную пенсию «по старости» все граждане СССР получили лишь в 1956 г., а колхозники — в 1964 г. (см.: [Lovell 2007: 215–221]. Женская старость, согласно советскому закону о пенсии, начиналась в 55 лет, на пять лет раньше мужской, что позволяло женщине выполнять важные для семьи и государства функции бабушки-няни [Краснова 2000]. Материальное государственное обеспечение делало их относительно финансово независимыми, но было недостаточным для того, чтобы в старости развлекаться или активно отдыхать. Однако дело не только в нехватке денег или здоровья. Представление о старости как о времени досуга, свободе, возможности пожить для себя практически отсутствует в проанализированных дневниках советских женщин. Подобные мысли изгоняются как непристойные. Иными словами, время старения не воспринимается как персональный ресурс; старение изображается как время работы по «выполнению долга» перед детьми, внуками и потомками.

Но кроме того, что записано и отрефлектировано в дневниках старения советских женщин, интересно и важно хотя бы кратко обратить внимание и на то, что *не* записано, что табуировано для фиксирования и открытого обсуждения. Такой запрещенной темой безусловно является сексуальность и телесность. Тело стареющей женщины описывается только в дискурсе болезни, но не желания. Табуировано и прямое обсуждение темы материнского эгоизма и власти. Изображая себя как жертв и жертвующих, дайаристки выносят за скобки связанную с материнством тему присвоения и контроля; проявления собственного эгоизма переинтерпретируются в терминах жертвы и альтруизма. Это связано не только со стремлением к психологическому комфорту и с монологизмом дневникового жанра, но и с влиянием авторитетного культурного мифа о терпеливой и всепрощающей матери и бабушке [Савкина 2011]. Дневниковые повествования показывают и зависимость дайаристок от идей и форм времени, и переосмысление (re-thinking) последних в процессе записывания собственного переживания старости. Рассказанный ими опыт старения оказывается универсальным, социокультурно обусловленным и одновременно глубоко персональным.

Эти выводы о женских дневниках, однако, очень интересно сравнить с анализом мужских дневниковых текстов. В качестве сопоставительного материала я выбрала дневник, который полностью сосредоточен на процессе старения и так и называется — «Дневник старости».

Старение как самовоспитание

Текст названного дневника принадлежит перу известного ученого Владимира Яковлевича Проппа (1895–1970). Он родился в семье обрусевших немцев и был крещен в евангелическо-лютеранской церкви под именем Герман Вольдемар. С матерью он говорил по-немецки, с отцом — по-русски. Пропп изучал германскую и русскую филологию, с 1932 г. работал в Ленинградском университете. Он известен своими пионерскими, намного опередившими время работами в области фольклора и этнографии «Морфология сказки» (1928), «Исторические корни волшебной сказки» (1946), «Русский героический эпос» (1955), «Русские аграрные праздники» (1963).

Пропп писал не только научные тексты. В книге «Неизвестный Пропп» опубликован хранящийся в архиве Пушкинского Дома большой фрагмент автобиографической повести «Древо жизни», содержащий повествование о детстве и юности. Кроме него из автодокументальных произведений Проппа сохранился уникальный текст, которому сам автор дал название «Дневник старости», поставив на первой странице даты «1962–196...». Рядом с этими цифрами пером нарисована горящая свеча, а над ней поникшая веточка. Первая запись сделана 28 марта 1962 г. (автору 67 лет), последняя — 25 июля 1970 г., за 29 дней до кончины. Дневник начинается фразой:

> Мой Дима (друг Проппа. — *И. С.*) говорил:
> Есть два метафизических возраста: детство и старость.

> Я вижу все не так, как видел раньше. Нет малых и великих событий: Есть события только великие [Пропп 2002: 289][5].

Понимая старость как особый, метафизический возраст, В. Я. Пропп пытается уловить в своем эгонарративе эту метафизику старости.

В «Дневнике старости» соседствуют и противоборствуют две линии. Первая связана с идей самоконтроля, самоотчета, труда над собой, самоорганизации, продуктивности (любимое Проппом слово, которое часто повторяется в дневнике). В этом смысле «Дневник старости» можно отнести к традиции дневника самовоспитания, или автодидактического дневника, который характерен, в частности, для протестантской религиозно-моралистической традиции [Гинзбург 1971: 38–40]. Для Проппа старость не оправдывает праздности: и пожилой человек обязан создавать себе распорядок, строить планы, составлять список необходимых дел, трудиться интеллектуально и душевно. 7 марта 1965 г. он описывает охватившее его чувство переполненности жизнью, томления «неизъяснимым счастьем жизни» [308]. Но тут же добавляет:

> Но в этом оправдания нет. Мое оправдание только в работе. Много не могу. Начинает болеть голова. Но должен столько, сколько могу. Вот план: [далее приводится подневный план] [308].

Ведение дневника воспринимается в этом смысле как инструмент самодисциплины и самоорганизации.

> [31.01.1965] Я уже привык писать по утрам дневник. Это меня подтягивает внутренне и внешне на весь день [300].

В процессе старения, который фиксирует дневник, прежние формы продуктивности исчерпывают себя или истончаются, но само понятие продуктивности остается актуальным до последних записей. Пропп продолжает требовать от себя интеллектуальных усилий, пытаясь придумать и обосновать новые, доступные формы продуктивности (аналитическое чтение, работа над осмыслением русской иконописи, музыкальные экзерсисы и пр.). Старость в этом дневниковом Entwicklungsroman воспринимается и конструируется не как «возраст дожития», а как этап пути, и подготовка к смерти оказывается не меньшим трудом души, чем подготовка к (взрослой) жизни.

Но понятие продуктивности постепенно наполняется и иным смыслом, который отсылает нас к другой линии осмысления и представления старости. В одной из последних записей дневника Проппа (3 февраля 1969 г.) читаем:

> Один день из моей жизни.
> Мне без малого 74. Моя жизнь уже не может быть продуктивной в том смысле, в каком она была продуктивна когда-то. Я не произвожу ничего нового.
> Но продуктивность может быть иной.

[5] При дальнейшем цитировании в этом разделе дневника Проппа указываются только номера страниц.

> Самый процесс жизни может быть продуктивным. Так живут, отдаваясь течению жизни, миллиарды людей. Так создается жизнь [327–328].

Старость понимается не только как долг работы над собой до последней минуты, но и как пространство метафизической свободы. Оковы обязательной и принудительной работы в старости ослабевают, и человек получает свободу развивать заветное в себе, получает досуг для истинного самосовершенствования, избавляясь от необходимости «интенсивно делать ненужную и бесплодную работу» [297]. Об этом ощущении принадлежности себе, похожем на чувство, пережитое в молодости, Пропп начинает писать с первых же страниц своего «Дневника старости»:

> [12.08.1962] Я веду непродуктивную жизнь, но она наполнена. ‹…› В старости у меня делается обостренное восприятие и усиливается впечатлительность. Рецепция есть вид продуктивности. Если так, моя жизнь продуктивна, ибо я живу в сфере высокого [290–291].

> [15.08.1962] Я вступаю в полосу деятельной жизни. Созерцательность придает жизни и всему человеческому существу глубину. Она излучается наружу [291].

> [14.01.1965] Круг моей жизни замыкается. Я вновь возвращаюсь к тому воздуху, которым я дышал в юности [294].

Пропп описывает свои занятия музыкой, чтением, походы в музей с целью рассматривания и неторопливого, вдумчивого осмысления живописи и особенно иконописи не только как опыты самосовершенствования, но и как возможность самоосуществления, самовыражения. Если дневник молодого человека — это автонарратив о пути к себе, внутренние этапы которого вырываются наружу цепью внешних событий, то путь старого человека незаметен внешне, неинтересен другим, внешним наблюдателям, с точки зрения которых со старым человеком ничего не происходит, кроме болезней и дряхления. Путь старости, зафиксированный пропповским нарративом, — это путь, по которому до́лжно идти в тишине и глубоком одиночестве, и смысл ведения дневника не в фиксации внешних событий, а в сосредоточенности на самом глубинном, невысказанном и даже невыразимом. Дневник старости у Проппа — это в какой-то степени опыт «молчания вслух».

> [16.01.1965] Я должен *насквозь* понять, что совершенно, полностью одинок ‹…› и никогда не надо пробовать делиться [296].

> [27.01.1965] Этот дневник неинтересен. Он интересен только как зрелище того душевного пожара, которым горит старый человек. Пожар продолжается, он охватывает все мое существо. Под старость чувства не притупляются, а, наоборот, все обостряется; я стал еще более впечатлителен [299].

28 января 1965 г. Пропп делает в дневнике запись по-немецки:

> Das Geheiligte liegt tief verborgen in mir. Es gibt Augenblicke — auf der Straße, im Autobus, in der Arbeit, im Bett, wo nichts ist, alles in sich zusammenfall, außer dem einen, das mich überwaltigt (Святое глубоко скрыто во мне. Бывают мгновения — на улице, в автобусе, на работе, в постели, когда все ничтожно, все рушится, кроме того единственного, что овладевает мною)[6] [299].

В описании такого глубоко скрытого чувства совпадения с самим собой, гармонии с миром, невыносимого счастья, даже блаженства бытия Пропп часто переходит на немецкий — язык своего детства, романтической традиции и в определенном смысле «тайный язык».

С идеей самовыражения и самоуглубления связаны такие концепты, как «вслушиваться в себя», «умереть примиренным» [298], «безраздельно отдаться во власть» [306] любому истинному чувству: счастья, радости, тоски, одиночества, отчаяния.

Две названные линии проживания и описания старости (самовоспитание и самоуглубление) в дневнике Проппа существуют не параллельно, а в противоречивом взаимодействии и взаимопроникновении, как, например, в записи от 4 мая 1965 г. (в оригинале по-немецки):

> Жизнь только тогда и имеет смысл и содержание, когда является радостью. Я достаточно претерпел от судьбы, чтобы знать это и все, что она мне предлагает, превратить в радость и принимать с благодарностью. Я снова сверхбогат и сверходушевлен. Я снова должен начать работать систематически, насколько хватит сил [311].

В дневнике В. Я. Проппа мы видим приятие старости и попытку «сделать старость» метафизическим возрастом самопознания, организовать свою старость как период новой для себя продуктивности.

Женский дневник vs. мужской дневник

Материал, состоящий из двух женских и одного мужского дневника, конечно, не дает оснований для фундаментальных выводов. Различия интерпретации темы старости и старения в трех дневниках во многом объясняются разницей персонального опыта, социального статуса, культурного бэкграунда, влиятельной для автора жанровой традиции (в случае Проппа — традицией автодидактического дневника), однако, как нам кажется, в определенной степени эти различия можно объяснить и ситуацией гендерного неравноправия.

В дневнике Проппа гендерный и социальный аспекты старости, так значимые в женских дневниках, затушеваны. Описание бытовых проблем занимает крайне мало места. Дети и внуки упоминаются в дневнике, но не как объект неустанной и энергоемкой заботы, а как источник любви и поддержки. Сексуальность и телесность не являются табуированными темами: Пропп много

[6] Пер. с нем. издателей дневника.

размышляет о трансформации в старости сексуального желания в истинную, с его точки зрения, «святую» мужскую любовь, объектом которой может быть не только женщина, но и дочь, и друг-мужчина. Тема эротического и его границ становится предметом обсуждения в мужском дневнике.

Но самые важные, на наш взгляд, отличия связаны с проблемой идентичности и конкретно — проблемой приятия и одобрения трансформаций self в старости, одобрения себя как старика / старухи.

О том, насколько существенным образом представление о себе старом / старой, узнавание новых аспектов собственной идентичности в пожилом возрасте зависит от представлений других о тебе или той группе, к которой другие тебя относят, пишет Дагмар Граммсхаммер-Хол, ссылаясь на труды Поля Рикёра, прежде всего на его книгу «Путь признания» [Gramshammer-Hohl 2016: 26–27; Рикер 210: 128–145].

«Старые люди» при этом — не гомогенная группа принадлежности; быть стариком и быть старухой в глазах других — не совсем одно и то же.

Надо отметить также, что зависимость от внешних представлений о группе принадлежности для женщины (не только пожилой) в патриархатном социуме бóльшая, чем для мужчины. Как показали феминистские критики, женщине-автору постоянно (сознательно или неосознанно) приходится иметь в виду мифы, стереотипы и представления о женственности, существующие в культуре. Как пишет Сюзанна Фридман, женщинам свойственна «разделенная» групповая идентичность, т. е. в женском эготексте Я не может конструироваться с игнорированием категории «женщина»; женщина-автор все время принуждена на эту категорию «оглядываться» [Friedmann 1988: 39–40].

Переосмысляя собственное Я в процессе дневникового письма[7] в старости / о старости, наши героини сталкиваются с тем, что принятие себя старухой в рамках существующей культурной традиции означает отказ от таких расхожих маркеров женственности, как красота, сексуальность, репродуктивность. А те возможные каналы для переосмысления своей гендерной идентичности в позитивном ключе (авторитет, обладание собственностью, мистическая мудрость, возвратная чистота), которые существовали в дворянской и народной культуре, оказываются «перекрытыми» в советском контексте. Остается только квазиматеринство: быть старой женщиной — значит прежде всего быть бабушкой. Как мы уже писали, и Лашина, и — в большей степени — Шапорина пытаются сопротивляться этому, в том числе и самим актом дневникового письма, но все же их нарративная идентичность, представление о себе как старухе в большой степени сформировано «другими», влиятельной и подавляющей культурной традицией и социальным контекстом.

Конечно, представления о мужской старости тоже обусловлены во многом концептом дефицита важных компонентов мужественности, связанных с силой и сексуальностью, но мужественность стариков в том социокультурном контексте, о котором мы ведем речь в этой статье, не утрачивается, а пере-

[7] Здесь мы говорим о нарративной идентичности в терминах Рикёра [2010: 97–105], который видит в процессе рассказывания себя и процесс самоотождествления — «диалектику отношения между двумя видами идентичности: неподвижной идентичностью *idem*, самотождественного “я” и подвижной идентичностью *ipse*, “я”, рассматриваемой в ее исторической обусловленности» [Там же: 99].

определяется в категориях власти, авторитета, мудрости (ср. возраст советских вождей). Одобрить себя в качестве старика легче с точки зрения сохранения самости, внешнее представление о том, что значит быть стариком, гораздо более вариативно.

На основе анализа избранных нами текстов можно сделать вывод, что женщина советского времени сильно зависит от навязанных ей обществом идентификационных моделей, в то время как в мужском дневнике контекст гендерного принуждения, так значимый в женских дневниках, практически отсутствует, мужчина более свободен в выборе своей старости.

Литература

Белова 2010 — *Белова А. В.* Четыре возраста женщины: Повседневная жизнь русской провинциальной дворянки XVIII — начала XIX в. СПб.: Алетейя, 2010.

Гинзбург 1971 — *Гинзбург Л. Я.* О психологической прозе. М.: Сов. писатель, 1971.

Кабакова 2001 — *Кабакова Г. И.* Антропология женского тела в славянской традиции. М.: Ладомир, 2001.

Кетлинская 1974 — *Кетлинская В. К.* Вечер. Окна. Люди. М.: Молодая гвардия, 1974.

Козлова 2005 — *Козлова Н. Н.* Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005.

Краснова 2000 — *Краснова О. В.* Бабушки в семье // Социологические исследования. 2000. № 11. С. 12–55.

Лаврентьева 2008 — *Лаврентьева Е. В.* Бабушка, Grand-mére, Grandmother… Воспоминания внуков и внучек о бабушках, знаменитых и не очень, с винтажными фотографиями XIX–XX веков. М.: Этерна, 2008.

Лаврентьева 2011 — *Лаврентьева Е. В.* Дедушка, Grand-pére, Grandfather… Воспоминания внуков и внучек о дедушках, знаменитых и не очень, с винтажными фотографиями XIX–XX веков. М.: Этерна, 2011.

Лашина 2011 — *Лашина Н. С.* Дневник русской женщины: В 2 т. М.: МОО «Культурно-просветительский центр “Преображение”», 2011.

Левинсон 2005 — *Левинсон А.* Старость как институт // Отечественные записки. 2005. № 3. С. 8–26.

Островская 2013 — *Островская С. К.* Дневник. М.: Нов. лит. обозрение, 2013.

Прокопьева 2005 — *Прокопьева Н.* Старуха // Мужики и бабы. Мужское и женское в русской традиционной культуре: Иллюстрированная энциклопедия / [Вступ. ст. Т. Б. Щепанской, И. Н. Шангиной; Науч. ред. И. Н. Шангина]. СПб.: Искусство–СПБ, 2005. С. 635–639.

Пропп 2002 — *Пропп В. Я.* Дневник старости // Неизвестный В. Я. Пропп / Предисл., сост. А. Н. Мартыновой; Подгот. текста, коммент. А. Н. Мартыновой, Н. А. Прозоровой. СПб.: Алетейя, 2002. С. 289–334.

Рикёр 2010 — *Рикёр П.* Путь признания. Три очерка / Пер. с фр. И. И. Блауберг, И. С. Вдовиной. М.: Рос. полит. энциклопедия (РОСПЭН), 2010.

Савкина 2011 — *Савкина И. Л.* У нас никогда уже не будет этих бабушек? // Вопросы литературы. 2011. № 2. С. 109–135.

Семенова 1996 — *Семенова В. В.* Бабушки: семейные и социальные функции прародительского поколения // Судьбы людей: Россия XX век: Биографии семей как объект социологического исследования. Сб. ст. / Отв. ред. В. Семенова, Е. Фотеева. М.: Ин-т социологии РАН. 1996. С. 326–354.

Толстая 2013 — *Толстая С. А.* Любовь и бунт. Дневник 1910 года. М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2013.

Шапорина 2012 — *Шапорина Л. В.* Дневник. Т. 2. М.: Нов. лит. обозрение, 2012.

Шагинян 1980 — *Шагинян М. С*. Человек и время. М.: Худ. лит., 1980.

Beauvoir 1972 — *Beauvoir S, de.* Old age. London: A. Deutsch and Weidenfeld and Nicolson, 1972.

Bruner 2004 — *Bruner J.* Life as narrative // Social Research. Vol. 71. No. 3. 2004. P. 691–710.

Chamberlain, Thompson 1998 — *Chamberlain M., Thompson P.* Introduction: Genre and narrative in life stories // Narrative and genre / Ed. by M. Chamberlain, P. Thompson. London, New York: Routledge, 1998. P. 1–22.

Friedman 1988 — *Friedman S. S.* Women's autobiographical selves: Theory and practice // The private self: Theory and practice of women's autobiographical writings / Ed. by Sh. Benstock. London: Routledge, 1988. P. 34–62.

Gramshammer-Hohl 2014 — *Gramshammer-Hohl D.* Repräsentationen weiblichen Alterns in der russischen Literatur. Alt sein, Frau sein, eine alte Frau sein. Hamburg: Kovač, 2014. (Grazer Studien zur Slawistik; Bd. 5).

Gramshammer-Hohl 2016 — *Gramshammer-Hohl D*. The sameness of the ageing self: Memory and testimony in 20th-century Russian narratives of ageing // Russian Literature. Vol. 85. 2016. P. 23–41.

Gusdorf 1980 — *Gusdorf G.* Conditions and limits of autobiography // Autobiography: Essays theoretical and critical / Ed. by J. Olney. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1980. P. 28–48.

Lejeune 1993 — *Lejeune P*. Le Moi des demoiselles: enquête sur le journal de jeune fille. Paris: Seuil, 1993.

Lovell 2007 — *Lovell S.* Soviet Russia's older generations // Generations in Twentieth-Century Europe / Ed. by S. Lovell. Houndmills; Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2007. P. 205–226.

Savkina 2017 — *Savkina I.* My diary that grows old with me // Aging in Slavic literatures: Essays in literary gerontology / Ed. by D. Gramshammer-Hohl. Bielefeld: Transcript, 2017. P. 105–129.

References

Beauvoir de, S. (1972). *Old age* [Trans. from Beauvoir de, S. (1970). *La vieillesse.* Paris: Gallimard]. London: A. Deutsch and Weidenfeld and Nicolson.

Belova, A.V. (2010). *Chetyre vozrasta zhenshchiny: Povsednevnaia zhizn' russkoi provintsial'noi dvorianki XVIII — nachala XIX v*. [Four ages of women: The everyday life of the Russian provincial noblewoman in the 18th — early 19th century]. St. Petersburg: Aleteiia. (In Russian).

Bruner, J. (2004). Life as narrative. *Social Research, 71*(3), 691–710.

Chamberlain, M., Thompson, P. (1998). Introduction: Genre and narrative in life stories. In M. Chamberlain, P. Thompson (Eds.). *Narrative and genre*, 1–22. London; New York: Routledge.

Friedman, S. S. (1988). Women's autobiographical selves: Theory and practice. In Sh. Benstock (Ed.). *The private self: Theory and practice of women's autobiographical writings*, 34–62. London: Routledge.

Ginzburg, L. Ia. (1971). *O psikhologicheskoi proze* [On psychological prose]. Moscow: Sovetskii pisatel'. (In Russian).

Gramshammer-Hohl, D. (2014). *Repräsentationen weiblichen Alterns in der russischen Literatur. Alt sein, Frau sein, eine alte Frau sein*. Hamburg: Kovač. (Grazer Studien zur Slawistik; Vol. 5). (In German).

Gramshammer-Hohl, D. (2016). The sameness of the ageing self: Memory and testimony in 20th-century Russian narratives of ageing. *Russian Literature, 85*, 23–41.

Gusdorf, G. (1980). Conditions and limits of autobiography [Trans. from Conditions et limites de l'autobiographie (1956). In G. Reichenkron, E. Haase (Eds.). *Formen der Selbstdarstellung: Analekten zur einer Geschichte des literarischen Selbstportraits*]. In J. Olney (Ed.). *Autobiography: Essays theoretical and critical*, 8–48. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.

Kabakova, G. I. (2001). *Antropologiia zhenskogo tela v slavianskoi traditsii* [Anthropology of the female body in the Slavic tradition]. Moscow*:* Ladomir. (In Russian).

Ketlinskaia, V. K. (1974). *Vecher. Okna, Liudi* [Evening. Windows. People]. Moscow: Molodaia gvardiia. (In Russian).

Kozlova, N. N. (2005). *Sovetskie liudi. Stseny iz istorii.* [Soviet people: Scenes from history]. Moscow: Evropa. (In Russian).

Krasnova, O. V. (2000). Babushki v sem'e [Grandmothers in the family]. *Sotsiologicheskie issledovaniia* [Sociological Studies]*, 2000*(11), 12–55. (In Russian).

Lashina, N. S. (2011). *Dnevnik russkoi zhenshchiny* [Diary of a Russian woman] (2 Vols.). Moscow: MOO "Kul'turno-prosvetitel'skii tsentr «Preobrazhenie»". (In Russian).

Lavrent'eva, E. V. (2008). *Babushka, Grand-mére, Grandmother… Vospominaniia vnukov i vnuchek o babushkakh, znamenitykh i ne ochen' s vintazhnymi fotografiiami XIX–XX vekov* [Babushka, Grand-mére, Grandmother… Grandchildren's memories of famous and not so famous grandmothers, with vintage photos of the 19th and 20th centuries]. Moscow: Eterna. (In Russian).

Lavrent'eva, E. V. (2011). *Dedushka, Grand-pére, Grandfather… Vospominaniia vnukov i vnuchek o dedushkakh, znamenitykh i ne ochen' s vintazhnymi fotografiiami XIX–XX vekov* [Dedushka, Grand-pére, Grandfather… Grandchildren's memories of famous and not so famous grandfathers, with vintage photos of the 19th and 20th centuries]. Moscow: Eterna. (In Russian).

Lejeune, P. (1993). *Le Moi des demoiselles: enquête sur le journal de jeune fille.* Paris: Seuil. (In French).

Levinson, A. (2005). Starost' kak institute [Old age as an institute]. *Otechestvennye zapiski* [Notes of the Fatherland]*, 2005*(3), 8–26*.* (In Russian).

Lovell, S. (2007). Soviet Russia's older generations. In S. Lovell (Ed.). *Generations in Twentieth-century Europe*, 205–226*.* Houndmills; Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Ostrovskaia, S. K. (2013). *Dnevnik* [Diary]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian).

Prokop'eva, N. (2005). Starukha [Old woman]. In T. B. Shchepanskaia, I. N. Shangina (Intro.), I. N. Shangina (Ed.). *Muzhiki i baby. Muzhskoe i zhenskoe v russkoi traditsionnoi kul'ture: Illiustrirovannaia entsiklopediia* [Men and women. Male and female in Russian traditional culture: Illustrated encyclopedia], 635–639. St. Petersburg: Iskusstvo–SPB. (In Russian).

Propp, V. Ia. (2002). Dnevnik starosti [Diary of old age]. In A. N. Martynova (Intro., Compl., Ed., Comment.), N. A. Prozorova (Ed., Comment.). *Neizvestnyi V. Ia. Propp* [Unknown V. Ia. Propp], 287–334. St. Petersburg: Aleteiia. (In Russian).

Riker, P. (2010). *Put' priznaniia. Tri ocherka* [Trans. from Ricœur, P. (2005). *Parcours de la reconnaissance. Trois études.* Paris: Gallimard]. Moscow: Rossiiskaia politicheskaia entsiklopediia (ROSPEN). (In Russian).

Savkina, I. L. (2011). U nas nikogda uzhe ne buet etikh babushek? [Won't we never ever have these grandmothers?]. *Voprosy literatury* [Problems of Literature]*, 2011*(2), 109–135. (In Russian).

Savkina, I. (2017). My diary that grows old with me. In D. Gramshammer-Hohl (Ed.). *Aging in Slavic literatures: Essays in literary gerontology*, 105–129. Bielefeld: Transcript.

Semenova, V.V. (1996). Babushki: semeinye i sotsial'nye funktsii praroditel'skogo pokoleniia. [Grandmothers: Family and social functions of the ancestral generation]. In V. Semenova, E. Foteeva (Eds.). *Sud'by liudei: Rossiia XX vek: Biografii semei kak ob"ekt sotsiologicheskogo issledovaniia.* [Fates of people: Russia, 20th century: Biographies of families as an object of sociological research], 326–354. Moscow: Institut sotsiologii RAN. (In Russian).

Shaginian, M. S. (1980). *Chelovek i vremia* [Man and time]. Moscow: Khudozhestvennaia literatura. (In Russian).

Shaporina, L. V. (2012). *Dnevnik* [Diary] (Vol. 2). Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian).

Tolstaia, S. A. (2013). *Liubov' i bunt. Dnevnik 1910 goda* [Love and rebellion. The diary of 1910]. Moscow: Ko Libri; Azbuka-Attikus. (In Russian).

* * *

Информация об авторе

Ирина Леонардовна Савкина
PhD
университетский лектор
(yliopistonlehtori),
Отделение русского языка,
культуры и перевода,
Тамперский университет
33014 Tampereen yliopisto
Kieli, käännös ja kirjallisuustieden
yksikkö, Kalevantie 4
Tampere, Finland
Тел.: +358-503181250
✉ *irina.savkina@tuni.fi*

Information about the author

Irina L. Savkina
PhD
University Lecturer,
School of Language, Translation
and Literary Studies,
Tampere University
33014 Tampereen yliopisto
Kieli, käännös ja kirjallisuustieden yksikkö,
Kalevantie 4
Tampere, Finland
Тел.: +358-503181250
✉ *irina.savkina@tuni.fi*